

Владимир Шаронов
(Калининград)

ОН ПОЭТИЧЕСКИ ПРЕДВИДЕЛ СУДЬБУ... КНИГА «ДЖИОРДАНО БРУНО» КАК СКРЫТАЯ ИСПОВЕДЬ ЛЬВА КАРСАВИНА¹

Книга Карсавина «Джиордано Бруно» рассматривается в контексте его собственной судьбы. Развивается положение о глубинной идейной и духовной близости Карсавина и Джиордано Бруно в плане преодоления оков рациональности актом мистического прозрения. Показано, что в этой книге Карсавин изложил предвидение собственной научной судьбы.

Ключевые слова: Карсавин, философия, исповедь, Джордано Бруно, теория двойной истины, интуиция, мистицизм



ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЭРГО»: Предисловие, тем более такое подробное, к книге, которая была опубликована много десятилетий назад обычно диктуется вполне понятными соображениями. Отделенная от нас почти столетием мысль Карсавина очевидно нуждается в комментариях. Комментарии, к которой книга «Джиордано Бруно» до сих пор не получила. Но комментарии исторического интереса есть еще один важный момент — вполне возможно, перед нами не просто книга Карсавина о ком-то, но и потрясающий своей искренностью рассказ о самом себе. Именно эту тайну приоткрывает нам Владимир Шаронов.

© Шаронов В., 2015

¹ Материалы публикуются с согласия редакции электронного издания «The Ergo Journal. Русская философия и культура» (Калининград).

Предисловие к публикации редкого текста

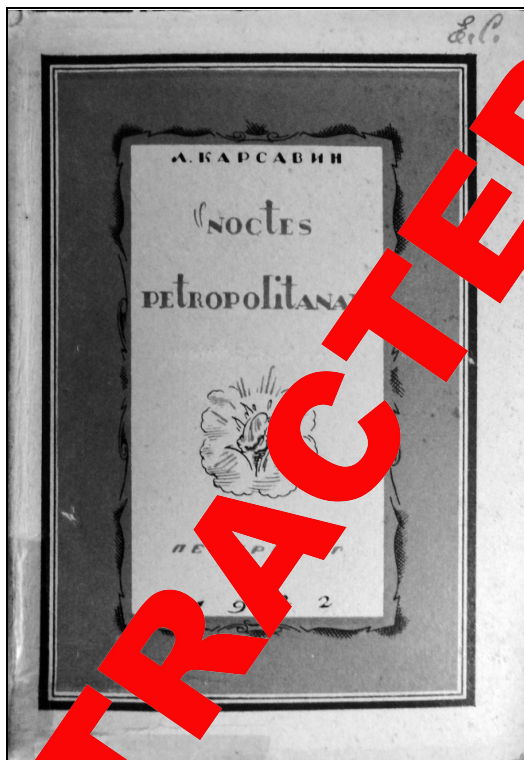
Избыток не только обогащает. Порой он способен и разрушать, до времени скрывая в себе таящееся напряжение сил. Талант ученого, проницаемость незаурядного ума, феноменальная память, страстность натуры, чуткость к религиозным основам жизни и способность к мистическим озарениям — все эти качества сделали Карсавина одним из самых значительных фигур российской культуры. Но они сыграли свою роль в его трагической судьбе, в которой с лихвой хватило одиночества и тяжелых страданий.



Елена Челодкова Скржинская, сотрудник Российской академии истории материальной культуры, в одном из залов музея. Ленинград, 1920 год

Встреча сорокалетнего Карсавина с двадцатипятилетней Еленой Челодковой Скржинской зажгла в нем страстную любовь, определив всю его последующую судьбу. Вспыхнувшее чувство открыло академическому профессору-медиевисту совершенно новый взгляд на жизнь, далекий от размеренного спокойствия и порядка. Пораженный захватившей его страстью и сопровождавшими ее странными, но для него несомнен-

ными озарениями, Лев Платонович не думал ни о своей семье, ни о какой бы то ни было моральной церковной ответственности. Более того, он смешал на страницах «Noctes Petropolitanae» многозначительные ученые спекуляции, действительно мистические откровения с интимными чувственными переживаниями.



Обложка первого экземпляра книги «Noctes Petropolitanae», подаренной Карсавиным Е. Ч. Скржинской, о чем свидетельствует специальная, характерным способом выполненная надпись на форзаце.

Книга хранится в семейной библиотеке дочери Е. Ч. Скржинской Марины Владимировны и ее супруга Николая Федоровича Котляра (Киев)

Позже, находясь в эмиграции, Карсавин напишет в личном письме к Петру Сувчинскому: «Ведь чувствую же я теперь саму безвкусицу моих “Noctes”, о коих и слышать не хочу. Ведь важен не автор, а поднятый им вопрос, потому существенный, что наибольшая часть моей души в работе»². Но будет поздно, христианская общественность,

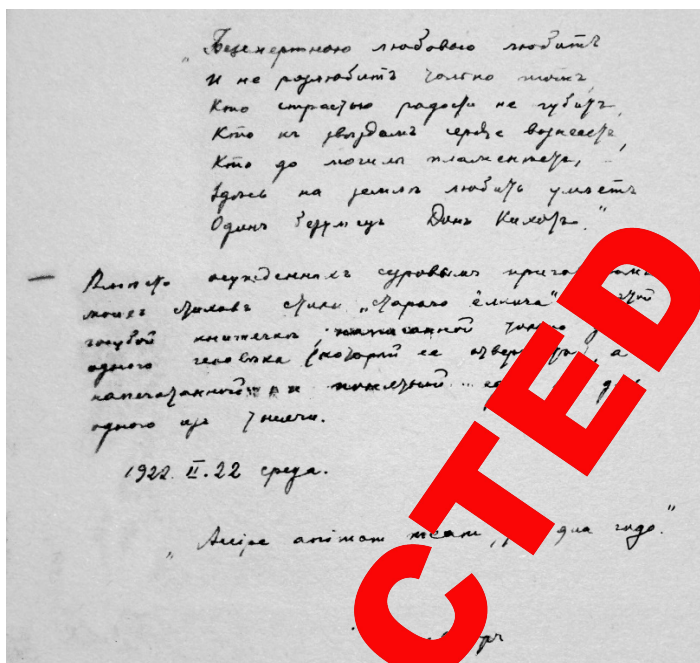
² Из письма Л.П. Карсавина к П.П. Сувчинскому от 1 февраля 1926 года. С ксерокопиями писем Карсавина к Сувчинскому любезно помогла ознакомиться К. Б. Ермишина.



включая многих собратьев по философскому цеху, уже заклеят Карсавина хлесткими ярлыками «розановщина», «карамазовщина» и даже «богословская эротомания». Об отзывах же в официальных советских изданиях — «галиматья», «бесмысленная теория», «сладкоречивая проповедь поповщины», «средневековый фанатик», «ученый мракобес», «мир червивых профессорских понятий» и многих других — не стоит и вспоминать. На этом поприще ярко отметился не кто иной, как пробующий свои литературные силы двадцатипятилетний Андрей Платонов [1, с. 5]. Нарушающие своей откровенностью границы принятых общественных приличий «Noctes Petrarcae» не заслонили своим богословским эпатажем другую работу Платоновича — книгу о Джордано Бруно, над которой он работал одновременно с «Ночами». И если первая «голубая книжечка», написанная согласно личной дарственной надписи на экземпляре, везены Чеславовны была написана «только для одного человека (которого она отвергает)», вызвала громкий скандал, то вторая — «Джиордано Бруно» — осталась незамеченной, несмотря на ее исключительную особенность. Увы, очевидное подчас труднее всего разглядеть. Возможно, поэтому до сих пор не замечалось, что книга о Бруно одновременно есть не что иное, как творческая исповедь самого Карсавина³. Прежде всего в словах о Ноланце отражена история преобразования недавнего профессора-медиевиста в одного из самых незаурядных религиозных философов: «Ум не мог раскрыть Бруно его интуицию; пламенеющая любовью воля озарила пучину Божества и открыла в ней комплицидность вселенной, находя себя в ней и ею»⁴.

³ Как совершенно верно указал в письме ко мне Максим Медоваров, молодой, но уже заметный ученый из нижегородского государственного университета, «в русской философии имеется почтенная традиция под видом биографии известных философов в то или иное время минувших обрисовывать скорее самого себя и свою эволюцию». «Жизненная драма Платона» Владимира Соловьева, где на каждой странице складывается впечатление, что автор эзоповым языком говорит о своих современниках в России 80–90-х годов XIX века. Таковы в значительной степени биографии Сковороды и Джоберти, написанные Владимиром Эрном. О Дж. Бруно в России начала XX века тоже писали и С.Л. Франк, и В.Ф. Эрн, но как-то вскользь. Карсавин действительно написал более всех, ибо, как следует из Вашей статьи, чувствовал его «сродство» с собой и, пожалуй, с ситуацией своего времени.

⁴ Здесь и далее цитаты из «Джиордано Бруно» ввиду их многочисленности даны без ссылок на указание страниц. Читатели без труда обнаружат их в публикации в «Эрго-журнале», где нумерация страниц указана в соответствии с нумерацией первого оригинального издания.



Дарственная надпись Л. П. Карсавина к книге «Noctes Petropolitanae», подаренной Е. Ч. Скржинской: «Бессмертного любовью любит / И не разлюбит только тот, / Кто страстью радости не губит, / Кто к звездам сердце вознесет, / Кто до мысли там не идет, — / Здесь на земле любить умеет / Один безумец Дон-Кихот». Вместо осужденных суровым приговором моих стихов стихи «Странного Ёлкича»** к этой голубой книжечке, написанной только для одного человека (который ее отвергает), а напечатанной и понятной только для одного из тысячи. 1922. II. 22 среда»

Роковая для судьбы его автора мистика Бруно, где бесконечный космос превращается в Бога, подхватывается Карсавиным так, что во всеединого Бога превращается уже сам человек. И это испугало куда более, чем «отчуждения» «Noctes Petropolitanae». Это «человекобожество», сродное разве что с Ницше⁵, подвергнется более чем простой

* Строфа из стихотворения Ф. К. Сологуба «Дон Кихот».

** Ёлкич — сказочный персонаж одноименного рассказа Ф. К. Сологуба.

⁵ И тем не менее Карсавин, бывший блестящим знатоком догматического богословия, опирался не на работы немецкого философа, а на забытое учение древних отцов Церкви. Так еще Иринеи Лионский провозгласил о Христе: «Он стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим», а Афанасий Великий сказал даже так: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом».



критике. Пугающая дерзость автора оттолкнет так, что и тогда, и позже главные идеи Карсавина подвергнутся умолчанию и уже после смерти Льва Платоновича будут громко заявлены крупнейшими западными богословами⁶. Всеобщая обструкция «Ночей», этого памятника страстной любви автора, более других причин вовлекла его в русло евразийского движения, незримо приближая жизненный путь ученого, философа и поэта к покинутой не по своей воле родине и к ожидающей его до поры безымянной могиле в приоткрытой тундре. Говоря о художественной стороне «Noctes Petropolitanae», исследователи карсавинского творчества почти никогда не обходят без эпитета «оригинальная». Между тем стоит только прикоснуться к тому, как пишет Карсавин о Бруно и какие фрагменты извлекает из трудов самого Ноланца, как обнаруживается ослепительный эстетический, переходящий в мистический пафос, ярко обрисовывающий эти работы:

И свет разума, погружающегося в бездонную пучину, в которой исчезают все противоречия, все определения, меркнет Любовь, смущаемая бездной Божественности, цепенеет. И вот Любовь возвращается она для того, чтобы силой воли устремиться туда, куда не может привести ее ум. Так стремящийся, так любящий в мучениях преобразуется в Любимого и, сгорая в пламени бушующего страсти, становится Богом Всеединым. Но, став Богом, он уже не думает ни о чем, кроме Божественного, являет себя нечувствительным и бесстрастным во всем, что так сильно чувствуют другие и что их так мучит. Он ничего не боится; из любви к Божеству презирает иные наслаждения; он вовсе не думает о жизни.

⁶ Строго говоря, одна из центральных идей Л.П. Карсавина о смерти Бога и жизни Бога-чрез-Смерть можно найти так или иначе сформулированной уже в «Noctes Petropolitanae»: «Любовь — жизнь, но она — больше, чем жизнь, противостоящая смерти, она и жизнь, и смерть для другого, высшее их единство» [2, с. 78]. В 1931 году в работе «О началах» Лев Платонович продолжает возвращаться к этой мысли. Например: «Силою Духа Самоотдача Сына есть и Самоутверждение Его, Божественное Умирание есть и Божественное Воскресение, Истинная Жизнь чрез Истинную Смерть» [3, с. 221]. В «Поэме о смерти» читаем: «Без всякого сомнения, хотят люди жизни чрез смерть, наслаждения страданьем или блаженства, но только сами не знают, чего хотят. Разделились они с Богом, разделили Его и потому всё уже разделяют. Одного и того же — Божьей Жизни чрез Смерть — сразу и хотят они, и не хотят, внутренне разделяясь». Эта работа увидела свет в 1931 году, то есть до того, как в развитии размышлений К. Барта Д. Бонхеффер высказался о смерти Бога. Тем более Лев Карсавин значительно опередил популярное в 1860-е годы богословие смерти Бога Д. Робинсона, Г. Ваганяна, Т. Альтицера и др.

Не столько стилевым единством с «Noctes Petropolitanae» замечательна книга «Джиордано Бруно». Эта едва прикрытая исповедь Льва Карсавина, как и «Ночи», не только содержит основные идеи автора, но и показывает характер его подхода к главным религиозным и философским темам и даже включает в себя попытки дать откровенный портрет собственной личности. Более того, факты последующей жизни и смерти Льва Платоновича доказывают поразительно точные пророчества о назначенной ему судьбе. О способности Карсавина видеть свое будущее «как бы в тусклом зеркале, гадательно» (гл. 7, с. 12) не раз говорила дочь — Сусанна Львовна. Пример такого видения содержит работа объемом всего в 31 страницу, напечатанная Буллинским евразийским книгоиздательством в 1925 году. Сложившись из бесед «О сомнениях, науке и вере» поражает удивительным совпадением с тем, что произойдет в жизни Карсавина через четверть века. Внешне автор повествует о своем пребывании в тюрьме петроградской ЧК с 16 августа по 24 октября 1922 года, но на этом временной реализм диалогов заканчивается, и Лев Платонович неожиданно назначает в них ответственным за основную философскую аргументацию вовсе не себя — сорокалетнего. Знакомые карсавинские идеи подаются в беседах от имени некоего «Отца» возрастом «пятьдесят». А рядом с ним автор выводит некоего молодого человека — «Комсомольца» и «нетвердого в своих социалистических убеждениях социалиста-революционера». Всякий знакомый с книгой Анатолия Анатольевича Ванеева «Два года в Абези» и воспоминаниями Фриха Франца Зоммера, повествующими о последних годах жизни Карсавина в заключении, подтвердит значительное совпадение основных сюжетных линий этих работ с тем, чему еще было только суждено случиться.

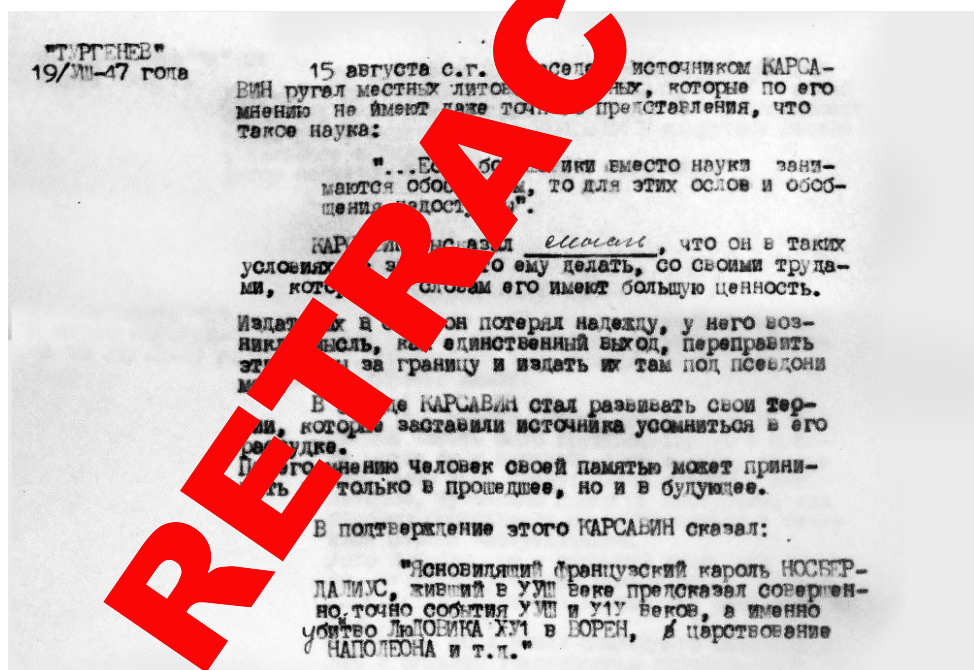
О даре предвидеть будущее не раз говорил сам Карсавин. Это было даже зафиксировано в официальном документе, имевшем гриф «Совершенно секретно». В 1947 году, на праздник Преображения Господня, некто из сотрудников Министерства государственной безопасности (МГБ), удивленный за псевдонимом «Тургенев», в своем донесении написал⁷: «В беседе КАРСАВИН стал развивать свои теории, которые заставили источника усомниться в его рассудке. По его мнению, человек своей памятью может принимать⁸ не только в прошедшее, но и в будущее. В подтверждение этого КАРСАВИН сказал: «Ясновидящий

⁷ Сохранены орфография и пунктуация оригинала.

⁸ По всей вероятности, автор имел в виду не глагол «принимать», а «проникать».



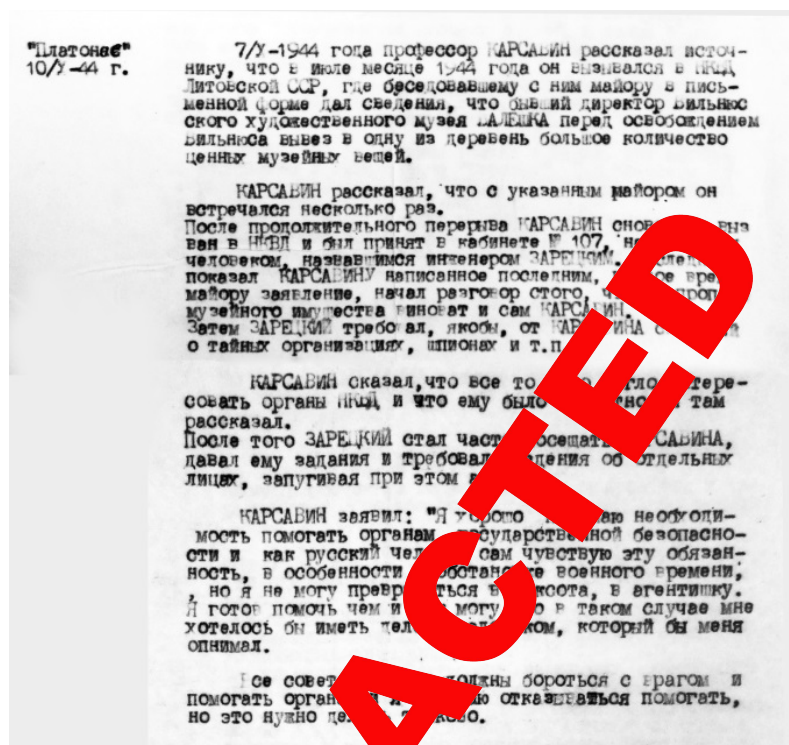
французский король НОСБЕРДАЛИУС, живший в XVIII веке предсказал совершенно точно события XVIII и XIX веков, а именно убийство Людовика XVI в ВОРЕН, царствование Наполеона и т.д.» Донесение это и поныне хранится в Меморандуме из дела «Алхимика», под именем которого значился Лев Платонович у сотрудников литовского МГБ. Да не вменит в вину «Тургеневу» его вопиющую неграмотность всевидящий Нострадамус и да простится ему незнание местечка Варенн, где король с супругой были взяты под стражу. И тем более вряд ли бедный «сексот» заслужил осуждение за его карсавинские сомнения в карсавинском рассудке. В конце концов, лишь с сексоты нашего времени мы имеем возможность сопоставить дабы убедиться написанное о Ноланце с прошлой и последующей жизнью автора. Фигуру Бруно в качестве своего alter ego сорокалетний Карсавин выбрал не только за формальное совпадение многих качеств и особенностей.



Страница из дела МГБ №16416 по обвинению Льва Платоновича Карсавина в преступлениях, предусмотренных ст. 58-4 и 58-10. Извлечения из Меморандума по материалам дела — формуляр «Алхимик».

Донесение секретного агента МГБ «Тургенева» от 19 августа 1947 года.

Хранится в Особом архиве Литвы



Страница из дела МГБ № 1416 по обвинению Льва Платоновича Карсавина в преступлениях, предусмотренных ст. 58-4 и 58-10. Извлечения из меморандума по материалам дела — формуляр «Алхимик». Донесение секретного агента МГБ «Платонаса» от 10 мая 1944 года. Хранится в Особом архиве Литвы

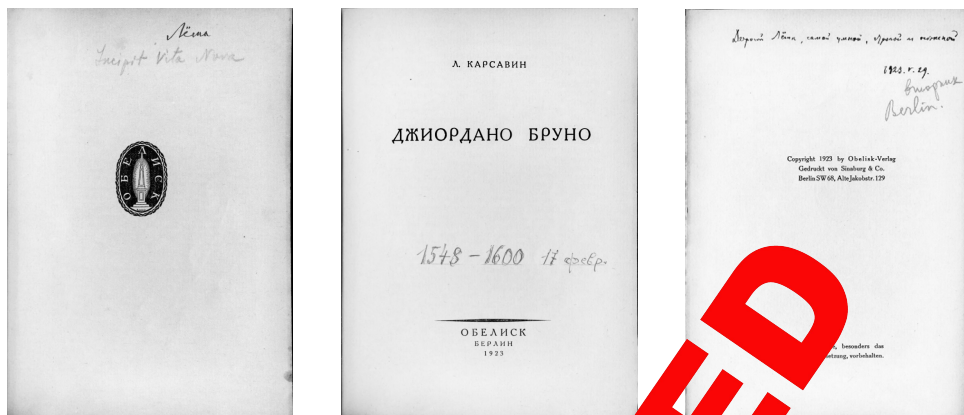
«Что же за человек Бруно? — восклицает автор, — Кто он, невысокий, худой и смуглый человек с каштановой небольшой бородой, на вид лет сорока? И отвечает так, словно рассказывает о себе, каким сохранил в памяти доминанция коллег и студентов: «Бруно был блестящим остроумным оратором, совсем не похожим на утомительно-монотонных и солидных профессоров. Его пламенная живая речь, за которой едва поспевали перья скорописцев, увлекала. Читал он стоя... пересыпал свое изложение шутками, сарказмами, то разражаясь инвективами, то уходя в изощренную диалектику или невразумительные, но тем более привлекательные для слушателей темные умозрения. Память его казалась необыкновенной, вмещающей всю полноту человеческого знания: и силлогизмы философов, и стихи поэтов».



До ареста в 1922 году, когда писалась книга о Ноланце, для Карсавина все было именно так, как сам он написал о начале интеллектуальной карьеры Бруно: «Шумный успех его выступлений должен был удовлетворять его самосознание, растущее по мере того, как философское вдохновение открывало ему все новые и новые дороги». Лев Карсавин, вдруг обнаруживший в себе способность к философской мысли, был вдохновлен озарениями и больше всего хотел подобно Джордано Бруно, «провозглашать эту истину, зная, что за нее его ненавидят и преследуют глупцы». Пусть «борьба неизбежна» — одной мыслитель готов по примеру своего второго «Я» «первым браться на врагов, увлекаемый собственным темпераментом». Тонкому и ранимому по своей натуре Льву Платоновичу, скрывающему свои качества за маской ироничности, было не просто выжить после выхода «*Noctes Petropolitanae*» испытания моральным расстройством. Ему хотелось быть понятым, каким-нибудь образом объясниться в своих самых серьезных устремлениях, и размышления о личности Бруно как нельзя лучше подходили для этой цели. Вневне он вынужден был приспособляться», — пишет Карсавин как раз о Ноланце. Но эта и последующие фразы указывают на собственное состояние Льва Платоновича, очутившегося в Берлине. Он чувствовал себя мучеником за идею. Ради нее оставил родину, пренебрег своими пенатами, презрел свое имущество. Карсавин прямо указывает на «реальный мир, клокочущий в душе, копьяющий ум».

В «Джиордано Бруно» можно расслышать также эхо известной размовки молодого профессора Санкт-Петербургского университета с И.М. Гревсом и поддевавшими Ивана Михайловича преподавателями и одновременно реакцию автора на критику коллегами по философскому факультету книги «*Noctes Petropolitanae*». Стараясь быть беспристрастным, Карсавин пишет: «Борьба с профессорами, неспособными справиться от того, чем жили и мыслили, скованными неизбежно рамками умственной деятельности, была делом нелегким. Личные качества Бруно, его необузданный темперамент, страстность, заставлявшая видеть в своих противниках только узколобых педантов, “летучих мышей” или недобросовестных шарлатанов, резкая и остроумная манера полемики — все должно было вызывать тот же “*furor scholasticus*”»⁹.

⁹ «Схоластическая ярость».



Страницы книги Л. П. Карсавина «Джордано Бруно»¹⁰

На третьей стороне обложки надпись карандашом «Incipit vita nova» («Начинается новая жизнь») содержит при этом аллюзию на известные обстоятельства неудачной поездки Е. Ч. Скржинской в Берлин и стихи любимого ею Данте. Вероятнее всего, надпись сделана рукой Елены Чеславовны уже после отъезда из Берлина, так как прозвищем «Новая жизнь» не что иное, как автобиографическая исповедь Данте могилой Беатриче.

Титул и оборот титула книги, подаренной Львом Платоновичем Карсавиным Елене Чеславовне Скржинской во время ее пребывания в Берлине. Дарственная надпись автора: «Дорогой Леша*, самой умной, строгой и нежной. 1923.V.29». Ниже рукой Е. Ч. Скржинской сделана приписка: «вторник Berlin».

Еще более показательный следующий карсавинский текст: «Я не склонен закрывать глаза на темные стороны характера Бруно, отдавая себе полный отчет в вспыльчивости, несдержанности и неуравновешенности (в чем сознаюсь и он сам), в склонности его переходить от увлечения к увлечению, жить мгновениями подхватывающего дух пафоса; не забывая при этом многословия, ни неуживчивого нрава». Так Лев Платонович неслучайно указывает на собственные, вполне осознаваемые им темные для окружающих качества, словно принося некие публичные извинения. Впрочем, они так и не были услышаны, и хотя большинство коллег признавало талант Карсавина, характеристики, данные ему, были преимущественно единодушны. Н. П. Ан-

¹⁰ Фотокопии любезно сделаны с книги, хранящейся в личном архиве Владимира Ивановича Мажуги, ученика Е. Ч. Скржинской, и разрешены для публикации в «Эрго-журнале». В настоящее время В. И. Мажуга — ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (СПБIIH РАН), член Международного комитета по латинской палеографии и редколлегии известного журнала «Historiographia linguistica».

* Леша — домашнее имя Елены Скржинской.



цифров: «В его умном сосредоточенном лице мало мягкости, доброты и той светлой одухотворенности, которые так характерны были для его учителя — Ивана Михайловича Гревса. Что-то затаенное и недобро-насмешливое поразило меня в этом значительном лице талантливейшего молодого ученого» [4]. Н.Н. Платонова: «От самого Карсавина все-таки смутное впечатление... Но как-то чувствуется, что он знает себе цену и его позиции сдвинуть ничем не возможно; на все возражения он отвечает: это для меня не важно, это не интересно». «Переоценка ценностей» — его стихия... Мудреный он человек, во всяком случае, большой озорник» [Там же]. И.М. Гревс: «В [Карсавин] любите критиковать, Вашу душу поднимает спор, опровержение, развенчание, победа за счет поражения других» [Там же]. Е. Пресняков: «Вообще же Карсавин — человек, который очень мало симпатизирует, и потому от него хочется быть подальше, хотя и признаешь, что очень интересным человеком...» [Там же].



Профессор Лев Платонович Карсавин. Петроград, 1920 год.
Фотография передана дочерью Сусанной Львовной Карсавиной
для Абезьского музея. В настоящее время хранится в фонде Интинского
краеведческого музея. Фотокопия сделана при содействии директора музея
Яны Станиславовны Румянцевой



В конце концов, борьба самокритичности с собственной натурой у автора «Джиордано Бруно» завершилась победой идейной непримиримости: «Философ выше мнений и веры большинства!.. Не количеством голосов решается вопрос об истинности того либо иного положения, и ничто так не близко к заблуждению, как мнение большинства». Но Карсавин не остановился на этой банальной оценке мнения толпы. Следуя за избранным героем книги, автор прозревает свою миссию как порученную самим Провидением: «Философ получил от неба драгоценный дар: он поставлен Богом в судьи над всем. Он стал бы неблагодарным и безумным, если бы сделался рабом другого, и начал смотреть чужими глазами. Надо руководить, а не убеждать людей, но истинностью самой вещи и оставить у каждого "идолопоклонство"».

Не выяснение отношений было главной задачей Льва Платоновича, решившегося завершить и опубликовать именно эту из многих своих начатых к тому времени работ. Многим важнее ему было заявить о своем отношении к философии, в котором оно со всей силой мысли выломился из традиций академической и исторической науки. Карсавин не просто цитирует Ноланца, но активно подает извлекаемый фрагмент рассказом о своем главном философско-теологическом методе, обнаруженном автором у своего героя, жившего четырьмя веками раньше: «Всмотревшись в себя самого», достичь «совершенно достоверного знания, перед лицом святыней и истинностью, перед природностью которого, по словам Бруно, "исчезают все обманчивые софизмы", а "дух созидающий свою жизнь и, ранее заключенный в тесную темницу, отваживается и полет в бесконечное"».

Увы, не только счастье небесных сфер принесут Льву Платоновичу избранные интеллектуальные и интеллектуальные пути. За них придется платить пристойно, отчаянного одиночества. Карсавин с горечью признается в самом же грустном в жизни человека, что никак, никогда и никому не может он высказаться, ниже себе самому. А все прочее, кроме этого рассказывания, ему не интересно¹¹. Так же, как и для Бруно, заявившему о себе русскому мыслителю, что ему более всего «дорога истинная София», которая для философа стоит даже выше, чем церковно принятое вероисповедание. Размышляя над вечной апорией веры и разума, Бруно, а вслед за ним и Карсавин, утверждает (как когда-то Сигер Брабантский, главный оппонент Аквината, защитник

¹¹ Из письма Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 27 февраля 1928 года.



осужденного впоследствии учения о «двойной истине»): «Истинное в философии может быть ложным в религии и наоборот. Но разве оба лика Истины не подлинные лики одной и той же Истины, совмещающей в себе противоречия?» При этом Лев Платонович, отводя прозвучавшие в его адрес обвинения после выхода «Ночей», с глубоко личной интонацией восклицает: «Философ не вытеснил в нем верующего. Бруно был и остался верующим христианином».



Густав Андреас Беттер, корреспондент Льва Платоновича Карсавина в 1940-е годы, один из основателей советологии, крупнейший мировой специалист по критике диалектического материализма. Фото сделано ориентировочно в середине 1970-х годов и любезно предоставлено автору другом и коллегой отца Андреаса профессором Иосифом Махой

С той же личной заинтересованностью Карсавин видит Ноланца — «скользящего по грани ереси новатора, который хотел смотреть своими глазами». Пройдет полтора десятка лет, и уже в качестве признанного философа Лев Платонович с убеждением и неоднократно повто-



рит почти те же самые слова, но теперь уже о себе самом. Они будут сказаны в переписке с докторантом папского Григорианского университета Густавом Андреасом Веттером:

Мною же защищаемая метафизика, боюсь, не вполне уместается и в рамках традиционного православия. <...> Знаю, что мои слова звучат богохульственно и, по видимости, посягают на основные догмы христианства. <...> Я хорошо понимаю, насколько еретическим должно казаться подобное утверждение. И все же... Я уверен в правильности основных своих идей, но заранее готов признать возможную неточность многих формулировок и вообще не думаю, чтобы отдельный человек безошибочно и ясно изложил систему метафизики, да еще христианской. Здесь нужны коллективные усилия целых поколений, в которых и заключается истинное значение имеет труд самого гениального индивида, как и сам я себя не считаю [5, с. 108–109].

Как поразительно перекликаются эти вновь приведенные строчки с написанным в «Джиордано Бруно» и как много они дают для понимания личности русского мыслителя.

Сам он отчетливо сознавал, что его идеи, по существу своему не оскорбляя религии и богословия, должны были на первый взгляд производить впечатление совершенно чуждого, далекого, неслыханного, чудовищного, отталкивающего и нелепых. Тем не менее, одушевляемый героическим восторгом, он чувствовал великую долгую необходимость проповедовать их, приближая царство истины. Пренебрегая толпу педантов, он пытался ее переубедить и вместо этого жила на «скале созерцания», бросался в самую гущу жизни. Бегство привлекала эта роль гонимого всеми пророка, ему нравилось полемически острять противоречия, наносить удары направо и налево, тратить свои силы в буре поднимаемых им криков негодования.

Обделенный вниманием к своим идеям, Карсавин с особым пристрастием выделяет жанр диалога. Трудно однозначно решить — о Ноланце диалоги Бруно написаны следующие строки:

Вот где он нашел, наконец, удовлетворяющую его литературно-художественную потребность форму, которая легко вмещала и пафос монолога, и резкую полемику, и тонкий персифлаж. Этим я вовсе не хочу сказать, что диалоги Бруно художественно безупречны: они страдают длиннотами, иногда надуманностью, отсутствием в большинстве из них стягивающего мысли и изложение центра. Но временами, как истинный поэт, автор умеет подняться над своим произведением, даже над основными принципами своей философии и с божественной иронией художника шутит над совпадением противоположностей.



История частенько подсмеивается над нашей интеллектуальной ленью и привычкой к штампам. В числе прочего она до сих пор разыгрывает свою шутку с темой противоположностей в философских и теологических работах Льва Платоновича. Из одной наукообразной работы в другую резво скачут глубокомысленные указания на гегельянский характер карсавинской диалектики, тогда как сам русский мыслитель отдавал свои симпатии диалектике совсем другого немецкого философа: «Сквозь смеющуюся маску автора прорывается серьезное лицо Николая Кузанского. К его “совпадению противоположностей” подымлется дух автора, и ширится этот дух, и ширится ум». Эту мало замечаемую тонкость, характерную для карсавинской работы о личности Бруно и важную для понимания его философии, отметил в своей рецензии Антон Владимирович Каргашев [6, с. 458]. И в ней же он указал на неуместный соблазн частого «гегельянского толкования».

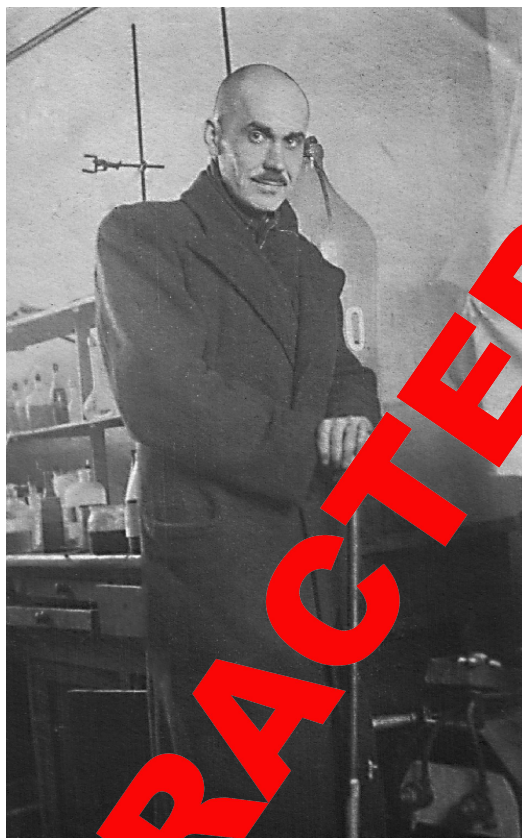
Большим достоинством работы Карсавина, свидетельствующим о глубоком понимании и любовно-бережном «прислушивании» к личности и мысли Бруно, является то, что он поддается столь понятному и столь часто соблазняющему историка желанию — внести «систему» в учение Бруно, «элиминируя» кажущиеся противоречия более или менее удачным диалектическим толкованием. В своем изложении Бруно является таким, каким он и был, — полным изобилием истинностей и противоречий: противоречий, по мнению Карсавина, неизбывных и объясняемых им тем, что Бруно не в силах осознать свое «двойное» философское интуитивное, не в силах, стало быть, сделать то, что удалось Николаю Кузанскому [6, с. 458].

То, с какой энергичностью Карсавин пишет о двойной истине, с полной очевидностью указывает, что он раскрывает не только философию Ноланда, но и свое миропонимание, свой способ мысли:

Практика двойной истины и провозглашение ее теории объясняются вовсе не историческими условиями, не деспотией религиозной веры — деспотией «двойной веры» не легче! Не потребностями свободной мысли, еще менее — какой-либо уловкой увертливости авверроистов. Теория двойной истины в конечном счете коренится в неизбывной потребности человеческого познания, для которого необходимы и путь разлагающего, отрицающего и ограничивающего разума (рассудка), и путь «умствующей» веры или целостной религиозной интуиции¹³.

¹² А. В. Каргашев скрыл свое имя за инициалами «А. К.» [6, с. 458].

¹³ Заметим, что теория двойной истины нашла себе место в современной теологии, признавшей, словами последнего католического собора, «правомерную автономию науки».



Анатолий Анатольевич Ванев после освобождения из заключения.
Г. Инта, 1957. Фото из личного архива семьи Ваневых
предоставлено сыном Анатолия Анатольевича — Львом

Именно в «Джиордано Бруно», разъясняя обоснованность теории двойной истины и признавая связь мистики с религиозной и всей жизнью индивидуума, Лев Карсавин заявил о необходимости познания «некоторого разрыва» в едином бытии, уточненного и переименованного позже в «прерыв». Что такое единое бытие, как не любимое многими почтенными русскими философами всеединство? Семен Людвигович Франк был одним из немногих, кто решился на его критику, указав на «надтреснутость» всеединства. У Карсавина с его прерывом оно и вовсе до конца разломилось, чтобы оформиться затем у Анатолия Анатольевича Ванева «в любимое выражение “Непрерывность через Прерыв”»¹⁴.

¹⁴ По свидетельству К.К. Иванова — друга и собеседника Анатолия Анатольевича Ванева.



Мистика вошла в миропонимание Льва Платоновича через погружение в средневековую религиозность Италии, через откровения Гуго Сен-Викторского и Блаженной Анджелы из Фолиньо и др. Но с особой силой мистика преобразила умозрение ученого силой настигшей его страстной любви ко времени написания этих двух книг — «Noctes» и «Джиордано Бруно». Вот почему Лев Карсавин так внимателен к Майстеру Экхарту, с особенной решительностью утверждавшему превосходство мистического познания над рациональным: «...помощью именно такого истинного знания или мистического познания Экхарт «открывает простоту Бога, сущности сущностей единую познающим его духом “искоркой души”». Но в полном соответствии с моралью Ноланца, превознося мистику, русский философ продолжает отдавать должное уважение и схоластике, вслед за Бруно соглашаясь в этом вопросе с основным положением этики Анджелы в том, что лишь тот «находится в состоянии добродетели», кто «находится посреди двух противоположностей».

Не без явных личных симпатий Лев Платонович уделяет внимание комедии Бруно Ноланца «Подсвечник», но не потому, что это скабрезное произведение насмешливо обличает устремления глупого старика, восплававшего смешною расой к молодке, и высмеивает двух искателей философского камня, а «полным остроумных выходов» рассказом скрывается нечто важное. В комедии Ноланц сам себя определяет «академиком без удачи», прозванным «Разочарованный», «в печали веселым, в веселии печальным». Взяв эти слова себе как творческий девиз, сам Лев и сам Карсавин, следуя ему, будет прятать самое серьезное за маской самоиронии и даже паясничанья. Через семь лет в «После о смерти», вновь посвященной Елене Чеславовне Скржинской, Лев объяснит свое амплуа: «Шуту все дозволено. Когда он плачет, никто не берет; и даже кровь его считают клюквенным соком. Когда он говорит серьезно, думают, что он паясничает; и только смех его только принимают всерьез» [8]. Так за «смеющейся маской шута» Лев Платонович спрячет свои «невидимые миру слезы» (Н. В. Гоголь), вызущее одиночество, постоянные приступы тоски и абулии, о которых он то и дело упоминал в своих письмах к П. П. Сувчинскому¹⁶. Особенно невыносимыми эти страдания от «пустоты»

¹⁵ Под портретом Экхарта его ученики писали «Это Мейстер Экхарт, от которого Бог никогда ничего не скрывал» [7].

¹⁶ См., например, упомянутые письма Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 20 января 1926 года; от 1 февраля 1926 года; от 27 февраля 1928 года.

станут для Карсавина, когда он, приглашенный в Литву профессор, получит все, чего так долго желал, — признание, полное благополучие, комфорт и «генеральское» жалованье. Что-то тяжелое, карамазовское пробудится в глубине души Льва Платоновича и отзовется короткой строчкой в письме: «Пью только чай и водку»¹⁷. Впрочем, Карсавин заслужил своей последующей судьбой, чтобы простить ему эту пору метаний и не муссировать иных подробностей его жизни на радость досужего обывателя. Того не ведая, он пророчески сказал о своей судьбе уже тем, что решил создать книгу о мыслителе, заключенном в тюремные узы, так и не снискавшем оправдания от своих судей. Погружаясь в жизнь и философию Ноланца, Лев Платонович, как и его герой, «шутя и бессознательно приподнял занавес своего будущего». Свое будущее он предрекал, рассказывая о возвращении Ноланца в родную землю, где того с неотвратимостью ждали бы настигнуть преследования. «Как мог решиться Бруно, беглый монах, на возвращение в Италию? Ему же было известно сложившееся о его еретических взглядах мнение, а рассчитывать на остроту в неизвестности он не мог, да едва ли и хотел». Истоль ли велика разница, когда работу средневековых инквизиторов в отношении судьбы Льва Карсавина выполнили следователи и Особое совещание МГБ? Среди множества ответов на загадку возвращения Ноланца Лев Платонович предлагает в книге лишь те, которые принадлежат ему самому и которые определяют в будущем его собственное мнение. «В его голове роился уже знакомый нам несколько императорский план примирения с церковью. Бруно рассчитывал просить прощение и милость папы, посвятив и поднеся ему новый свой труд. Просвещенный наместник Петра, конечно, оценит его талант и знания, позволит ему возвратиться в лоно церкви, не наизапрям, и — кто знает? — может быть, в Италии ждет победный лавровый венец борца за новую философию, в той Италии, о которой грешил сердце изгнанника». В этом «горделивом самосознании, в доверии, наивности и химеричности расчетов» не только весь Ноланц, но и весь Карсавин, решивший в 1944 году вновь соединить свою жизнь с Родиной, когда-то едва не казнившей мыслителя за идеологическое разномыслие и в конце концов выславшей на чужбину. Протоколы допросов Льва Платоновича в вильнюсской тюрьме не могут не изумлять своими совпадениями с историей заключения Бруно. Карсавин также решился говорить правду на первом

¹⁷ Из письма Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 27 февраля 1928 года.

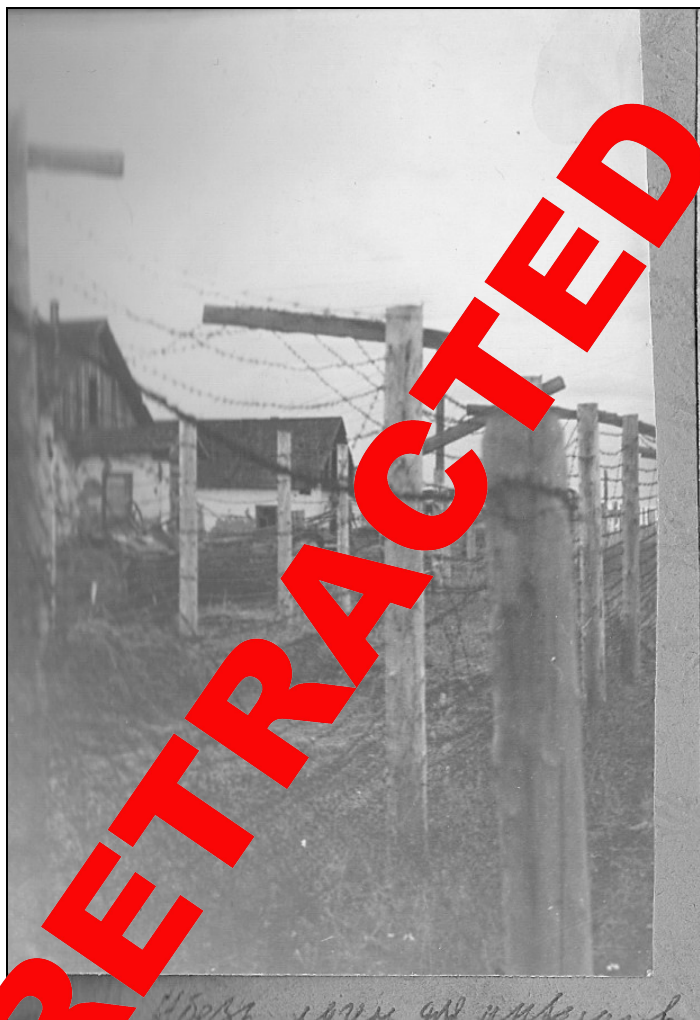


же допросе, также «свободно... и правдиво рассказал обвиняемый свою жизнь». Как и Ноланц, Карсавин «не запирается, не отрицает решительно предъявляемые ему обвинения. Напротив — он сам, по доброй воле вспоминает и рассказывает», о чем вполне мог бы умолчать. Он даже выдает подробности послевоенной встречи с Еленой Чеславовой, словно не понимая, какие для нее могут случиться последствия этой его неуместной откровенности. Как и Бруно, Карсавин напрасно рассчитывал быть правильно понятым своими обвинителями. Инквизиторы остаются неизменными, даже если прошло четыре века, потому что они не меняются никогда. Как и в случае с Бруно, обвинители Льва Платоновича были «не способны оценить мысль» Карсавина. А он, как Ноланец, так же был «не способен оценить их мысль». В октябре 1944 года Лев Платонович отвечал майору МГБ Зарецкому, склонявшему его к сотрудничеству, угрожавшему арестом в случае отказа: «Я хорошо понимаю необходимость помогать органам государственной безопасности и как русский человек сам чувствую эту обязанность, в особенности в настоящее военное время, но я не могу превратиться в сексота, в агитатора. Я готов помочь, чем и как могу, но в таком случае мне хотелось бы иметь дело с человеком, который бы меня понимал. Все советские люди должны бороться с врагом и помогать органам, но я не думаю отказываться помогать, но это нужно делать толково».

Без малого тридцать лет назад Карсавин написал о процессе Бруно: «Инквизиторы не способны оценить мысль Бруно, он так же не способен оценить их мысль, в ней глубокую идею схоластики “философия — служанка богословия”». Теперь, находясь в Вильнюсской тюрьме, Карсавин был обречен на осуждение теми, кто исповедовал принцип «партийности философии», означавший по существу, что «философия — служанка государственной идеологии». А философии своего подследственного, как и никакой другой, кроме марксистско-ленинской, советские инквизиторы же не способны были понять. Уже находясь в вильнюсской тюрьме, Карсавин в полном соответствии с его описанием состояния итальянского узника «почти обрел уже душевный покой» и «пронесшаяся над его душой мука допросов и унижений была последнею взволновавшею ее бурей». В долгом одиночестве тюремной камеры Лев Платонович создал свой «Венок сонетов». В него он заключил самое главное, не забыв даже такое значимое когда-то для Бруно учение о двойной истине. И конечно, поставил в центр этих богословских стихов свою центральную идею: «И Жизнь-чрез-Смерть



встает пред слабым взором, / Что все двоит согласьем и раздором. /
Единая в них угасает сила, / Разъята мною. Но в себе она / Всегда
едина и всегда полна. / И тьма извне ее не охватила» [9, с. 275].



Абезьский С. лагерьный пункт (ОЛП). Вид со стороны воли. 1950 год.
Фото хранится в Интинском краеведческом музее

Это спокойное принятие своей смерти Лев Платонович Карсавин сохранил до самой своей кончины. Спустя четверть века после нее, описывая последние часы своего Учителя в стенах барака для умирающих в инвалидном лагере в Абези, Анатолий Анатольевич Ванеев напишет: «Ни разу и ни по какому поводу не показал он неудовольст-



вия, ни разу и никому не сказал о своих страданиях, хотя болезнь, должно быть, мучила его жестоко» [9, с. 176]. Ванеев, ставший душеприказчиком мыслителя, донесет до нас удивительное свидетельство о последних словах своего Учителя: «Я был готов к тому, что мне здесь будет плохо. Но Бог дал мне умереть среди близких и родных». Затем, опять недолго помолчав, он сказал: «Всю жизнь я ходил около истины. А теперь все так просто». Что именно просто, он не сказал» [Там же]. Как писал Ноланец, «мудрая душа не боится смерти». Иногда она даже ищет ее, стремится к ней навстречу»... Почему? В книге о Джордано Бруно у Льва Карсавина есть ответ и на этот вопрос.

Послесловие к предисловию

Предлагаемая выше работа никогда не могла бы мною написана без дружбы, великодушно подаренной мне русским религиозным философом Константином Константиновичем Ивановым — моим общим с Анатолием Анатольевичем Ванеевым другом и собеседником. В очередной раз приношу ему искреннюю благодарность за его терпеливые и свободные обсуждения со мной самых разных тем, продолжающиеся без малого тридцать лет¹⁸. Убежден, что его живой, почти мгновенный отклик и на этот материал поможет более глубоко понять значение идей Льва Платона Карсавина и его ученика и продолжателя Анатолия Анатольевича Ванеева. Я привожу его отклик на мое эссе без каких-либо изъятий и уточнений:

Дорогой Владимир, я задумался над тем, что Ваше предисловие к публикации «Джордано Бруно» может породить другое Ваше размышление и вот на какую тему. Карсавин, как выясняется ярко в Вашем эссе, даже и подсознательно был на самом глубоком уровне, даже и невольно связывал свою теорию (связанную, конечно, с его философией) со своей личностью. Но ведь это выводит к великой проблеме всего Нового времени — философии христианства! Для Запада она значила не менее Ренессанса. И все же, не менее, чем Ренессанс, ее не хватало в России (и нам приходится иметь в виду как главную нашу проблему — личное, не узко церковное усвоение христианской веры). Не случайно Владимир Соловьев во второй его прокатолический период сосредоточил свою критику православия в определении «протестантизм местного предания». Он в духе католичества видел главную опасность протестантизма в отделении от еди-

¹⁸ С двумя циклами моих бесед с Константином Константиновичем Ивановым можно ознакомиться здесь: <http://www.youtube.com/user/Hitsuzu/videos>

ной церкви, не слишком думая о глубочайшей потребности такого отделения для восстановления потерянного в схоластике и средневековой теократии личного, крайне существенного христианского измерения веры. В последний период сам Соловьев беспощадно раскритиковал свою католически им понятую, но, по сути, свою экуменическую позицию как проект Антихриста. В «Трех разговорах» он видит значение конфессионального своеобразия и дискредитацию истинного экуменизма при попытке его подавить. В общем, он был прав еще и в том смысле, что безбожный секуляризм выступает под флагом абсолютного и пустого в своей абстрактности плюрализма и культа свободы и свободы... Но все это никак не отменяет истинное значение Реформации и необходимость развития личной веры в православной традиции (каковую уже невольно являли собой славянофилы, пугавшие славянским православием традиционных церковных представителей)... И даже сугубо личные, индивидуальные, интимные диверсии Карсавина в теологию связаны с этой задачей — в ее настоящем, современном исполнении. Славянофильство или его отголосок в евразийском движении — это уже отжившее. Надо откровенно ставить вопрос о таком индивидуальном усвоении веры, когда, конечно, не личные или эротические интимные моменты бесцеремонно выносятся на сцену, а когда вера усваивает индивидуализированная, декартовская личность. Переживания такой личности — [во] всесамообъективации. Вмешательством такая личность живет моментом отрыва от себя, от мира, от Бога от своей веры... Так выходит вперед у Карсавина «Бог как я» — индивидуально личный ответ на вызов Ницше, у которого по существу «Бог умер» (с особенным вызовом подражания словам «Вам сказано: вы не должны» [Пс. 81: 6 и Ин. 10: 34]). И Карсавин буквально отвечает на вызов Ницше «Бог умер». Кажется, он один сделал это так точно, буквально. Как всегда жду Ваш ответ и продолжение этой предложенной темы. Валерий Константинович Иванов. СПб., 22.02.15 г.

Список литературы

1. Книжка полка // Воронежская коммуна. 1922. № 178 (830).
2. Карсавин Л. P. Actes Petropolitane. Петербург, 1922.
3. Карсавин Л. П. О началах (опыт христианской метафизики). Берлин, 1925.
4. Свешников А. В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (история одного профессорского конфликта). URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/sv7.html> (дата обращения: 12.02.2015).
5. Письма Л. П. Карсавина // Символ. 1994. № 31.
6. Современные записки. Париж, 1924. Кн. 18.
7. Духовные проповеди и рассуждения Мейстера Экхарта. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/philos/ekhart01.htm> (дата обращения: 12.02.2015).



8. Карсавин Л. П. Поэма о смерти. URL: <http://predanie.ru/lib/book/76125/> (дата обращения: 12.02.2015).

9. Ванеев А. А. Два года в Абези. Памяти Л. П. Карсавина. Брюссель, 1990.

RETRACTED

Vladimir Sharonov
HE PREDICTED THAT POETICALLY...
THE BOOK GIORDANO BRUNO AS A COVERT CONFESSION
OF LEV KARSAVIN

Karsavin's book Giordano Bruno is considered in the context of its author's biography. The article explores the hypothesis about the deep ideational and spiritual connection between Karsavin and Giordano Bruno forged by undoing the fetters of rationality through a mystical epiphany. It is shown that, in the book, Karsavin foresaw his own academic fate.

Key words: Karsavin, philosophy, confession, Giordano Bruno, double-truth theory, intuition, mysticism.